

**Анатолий Приставкин**

## **Ночевала тучка золотая (фрагмент)**

**1**

Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер. Возникло, прошелестело, пронеслось по ближним и дальним закоулкам детдома: «Кавказ! Кавказ!» Что за Кавказ? Откуда он взялся? Право, никто не мог бы толком объяснить.

Да и что за странная фантазия в грязненьком Подмосковье говорить о каком-то Кавказе, о котором лишь по школьным чтениям вслух (учебников-то не было!) известно детдомовской шантрапе, что он существует, верней, существовал в какие-то отдаленные непонятные времена, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме.

Был еще Печорин, из лишних людей, тоже ездил по Кавказу.

Да вот еще папиросы! Один из Кузьменышей их углядел у раненого подполковника из санитарного поезда, застрывшего на станции в Томилине.

На фоне изломанных белоснежных гор скачет, скачет в черной бурке всадник на диком коне. Да нет, не скачет, а летит по воздуху. А под ним неровным, угловатым шрифтом название: «КАЗБЕК».

Усатый подполковник с перевязанной головой, молодой красавец, поглядывал на прехорошенькую медсестричку, выскочившую посмотреть станцию, и постукивал многозначительно ногтем по картонной крышечке папирос, не заметив, что рядом, открыв от изумления рот и затаив дыхание, воззрился на драгоценную коробочку маленький оборвыш Колька.

Искал корочку хлебную, от раненых, чтобы подобрать, а увидел: «КАЗБЕК»!

Ну, а при чем тут Кавказ? Слух о нем?

Вовсе ни при чем.

И непонятно, как родилось это остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо там, где ему невозможно родиться: среди детдомовских будней, холодных, без дровинки, вечно голодных. Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верха желания и мечты, — корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только лишний военный день.

Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: в ХЛЕБОРЕЗКУ, — вот так и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недостижимей, чем какой-то там КАЗБЕК!

А назначали туда, как господь бог назначал бы, скажем, в рай! Самых избранных, самых удачливых, а можно определить и так: счастливейших на земле!

В их число Кузьменьши не входили.

И не было в мыслях, что доведется войти. Это был удел блатяг, тех из них, кто, сбежав от милиции, царствовал в этот период в детдоме, а то и во всем поселке.

Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные, — хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгновеньице, вот о чем мечталось! Глазком, чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира, в виде нагроможденных на столе корявых буханок.

И — вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах...

И все. Все!

Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть насладятся избранные! Это по праву принадлежит им!

Но как ни притирайся к обитым железом дверям хлеборезки, это не могло заменить той фантазмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых, — запах через железо не проникал.

Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда.

И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку: проникнуть в хлеборезку, в царство хлеба любым путем... Любым.

В эти, особенно тоскливые, месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно, не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязненьким, но тоже зарешеченным окном ворожат избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, сыпая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а жирные отломки приберегая пахану.

Слюна накупала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завывать, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли, наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно... Накажут, избыют, убьют... Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе... Как он пахнет!

Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует... И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.

От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал. Он становился сильней.

Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением разжевывая жесткое крылышко...

Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже! Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей; если у них цыпленка не жрут, значит, писатели сами зажрались!

С тех пор как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут на зиму свою полумалину.

В неизменности оставалось одно: сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.

За корочку попадали в рабство на месяц, на два.

Передняя корочка, та, что поджаристой, черней, толще, слаще, — стоила двух месяцев, на буханке она была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится плашмя прозрачным листиком на столе; задняя — побледней, победней, потоньше — месяца рабства.

А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьменышей, тоже лет одиннадцати, до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.

Кузьменыши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.

Если бы, конечно, сложить двух Кузьменышей в одного человека, то не было бы во всем Томилинском детдоме им равных по возрасту, да и, возможно, по силе.

Но знали Кузьменыши и так свое преимущество.

В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрее. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо схватить, где что плохо лежит!

Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих. Да успевают еще следить, чтобы у самого не тяпнули бы чего, одежду, матрац исподнизу, когда спишь да видишь свои картинки из жизни хлеборезки! Говорили же: чего, мол, хлеборезку раззявил, если у тебя у самого потянули!

А уж комбинаций всяких из двух Кузьменышей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев ноет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока обернулись на второго, первый — шмыг, и нет его. И второй следом! Оба брата как выюны верткие, скользкие, раз упустил, в руки обратно уже не возьмешь.

Глаза увидят, руки захапают, ноги унесут...

Но ведь где-то, в каком-то котелке все это должно заранее свариться... Без надежного плана: как, где и что стырить, — трудно прожить!

Две головы Кузьменышей варили по-разному.

Сашка как человек миросозерцательный, спокойный, тихий извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал.

Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь, то бишь, доход. А что еще точней: взять жрать.

Если бы Сашка, к примеру, произнес, почесывая белобрысую макушку, а не слетать ли им, скажем, на Луну, там жмыху полно, Колька не сказал бы сразу: «Нет». Он сперва обмозговал бы это дельце с Луной, на каком дирижабле туда слетать, а потом бы спросил; «А зачем? Можно спереть и поближе..."Но, бывало, Сашка мечтательно посмотрит на Кольку, а тот, как радио, выловит в эфире Сашкину мысль. И тут же скумекает, как ее осуществить.

Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие!

А Кузьменьши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого года и не околеть.

Когда революцию в Питере делали, небось, кроме почты и телеграфа, да вокзала, и хлеборезку не забыли приступом взять!

Шли мимо хлеборезки братья, не первый раз, кстати. Но уж больно невтерпеж в этот день было! Хотя такие прогулки свои мученья добавляли.

«Ох, как жрать-то охота... Хоть дверь грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!» — так вслух произнеслось. Сашка произнес, и вдруг его осенило. Зачем ее есть, если... Если ее... Да, да! Вот именно! Если ее копать надо!

Копать! Ну, конечно, копать!

Он не сказал, он лишь посмотрел на Кольку. А тот в мгновение принял сигнал, и, вертанув головой, все оценил, и прокрутил варианты. Но опять же ничего не произнес вслух, только глаза хищно блеснули.

Кто испытал, тот поверит: нет на свете изобретательней и нацеленней человека, чем голодный человек, тем паче, если он детдомовец, отрастивший за войну мозги на том, где и что достать.

Не молвив ни словца (кругом живоглоты, услышат, разнесут, и кранты тогда любой, самой гениальной Сашкиной идее), братья направились напрямиком к ближайшему сарайчику, отстоящему от

детдома метров на сто, а от хлебoreзки метров на двадцать. Сарайчик находился у хлебoreзки как раз за спиной.

В сарае братья огляделись. Одновременно посмотрели в самый дальний угол, где за железным никчемным ломом, за битым кирпичом находилась заначка Васьки Сморчка. В бытность, когда хранились дрова, никто не знал, лишь Кузьменыши знали: тут прятался солдат дядя Андрей, у которого оружие стянули.

Сашка спросил шепотом; — А не далеко?

— А откуда ближе? — в свою очередь, спросил Колька.

Оба понимали, что ближе неоткуда. Сломать замок куда проще. Меньше труда, меньше времени надо. Сил-то оставались крохи. Но было уже, пытались сбивать замок с хлебoreзки, не одним Кузьменышам приходила такая светлая отгадка в голову! И дирекция повесила на дверях замок амбарный! Полпуда весом!

Его разве что гранатой сорвать можно. Впереди танка повесь — ни один вражеский снаряд тот танк не прошибет.

Окошко же после того неудачного случая зарешетили да такой толстенный прут приварили, что его ни зубилом, ни ломом не взять — автогеном если только!

И насчет автогена Колька соображал, он карбид приметил в одном месте. Да ведь не подтащишь, не зажжешь, глаз кругом много.

Только под землей чужих глаз нет! Другой же вариант — совсем отказаться от хлебoreзки — Кузьменышей никак не устраивал.

Ни магазин, ни рынок, ни тем более частные дома не годились сейчас для добычи съестного. Хотя такие варианты носились роем в голове Сашки. Беда, что Колька не видел путей их реального воплощения.

В магазинчике сторож всю ночь, злой старикашка. Не пьет, не спит, ему дня хватает. Не сторож — собака на сене.

В домах же вокруг, которых не счесть, беженцев полно. А жрать как раз наоборот. Сами смотрят, где бы что урвать.

Был у Кузьменышей на примете домик, так его в бытность Сыча старшие почистили.

Правда, стянули невесть чего: тряпки да швейную машинку. Ее долго потом крутила по очереди вот тут, в сарае, шантрапа, пока не отлетела ручка да и все остальное не рассыпалось по частям.

Не о машинке речь. О хлеборезке. Где не весы, не гири, а лишь хлеб — он один заставлял яростно в две головы работать братьев.

И выходило: «В наше время все дороги ведут к хлеборезке».

Крепость, не хлеборезка. Так известно же, что нет таких крепостей, то есть хлеборезок, которые бы не мог взять голодный детдомовец.

В глухую пору зимы, когда вся шпана, отчаявшись подобрать на станции или на рынке хоть что-нибудь съестное, стыла вокруг печей, притираясь к ним задницей, спиной, затылком, впитывая доли градусов и вроде бы согреваясь — известь была вытерта до кирпича, — Кузьменьши приступили к реализации своего невероятного плана, в этой невероятности и таился залог успеха.

От дальней заначки в сарае они начали вскрышные работы, как определил бы опытный строитель, при помощи кривого лома и фанерки.

Вцепившись в лом (вот они — четыре руки!), они поднимали его и опускали с тупым звуком на мерзлую землю. Первые сантиметры были самыми тяжелыми. Земля гудела.

На фанерке они относили ее в противоположный угол сарая, пока там не образовалась целая горка.

Целый день, такой пуржистый, что снег наискось несло, залепляя глаза, оттаскивали Кузьменьши землю подальше в лес. В карманы клали, за пазуху, не в руках же нести. Пока не догадались: сумку холщовую от школы приспособить.

В школу ходили теперь по очереди и копали по очереди: один день долбил Колька и один день — Сашка.

Тот, кому подходила очередь учиться, два урока отсиживал за себя (Кузьмин? Это какой Кузьмин пришел? Николай? А где же второй, где Александр?), а потом выдавал себя за своего брата. Получалось, что оба были хотя бы наполовину. Ну, а полного посещения никто с них и не требовал! Жирно хотите жить! Главное, чтобы в детдоме без обеда не оставили!

А вот обед там или ужин, тут по очереди не дадут съесть, схавают моментально шакалы и следа не оставят. Тут уж они бросали копать, и вдвоем в столовку как на приступ шли.

Никто не спросит, никто не поинтересуется: Сашка шамает или Колька. Тут они едины: Кузьменьши. Если вдруг один, то

вроде бы половинка. Но поодиночке их видели редко, да можно сказать, что совсем не видели!

Вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся.

А если бить, то бьют обоих, начиная с того, кто в эту нескладную минуту раньше попадет.

## 2

Раскоп был в самом разгаре, когда повсюду пошли эти странные слухи о Кавказе.

Беспричинно, но настойчиво в разных концах спальни то тише, то сильней повторялось одно и то же. Будто снимут детдом с их насиженного в Томилине места и скопом, всех до единого, перекинут на Кавказ.

Воспитателей отправят, и дурака-повара, и усатую музыкантшу, и директора-инвалида... («Инвалида умственного труда!» — произносилось негромко.) Всех отвезут, словом.

Судачили много, пережевывали, как прошлогоднюю картофельную шелуху, но никто не представлял себе, как возможно всю эту дикую орду угнать в какие-то горы.

Кузьменьши прислушивались к болтовне в меру, а верили и того меньше. Некогда было. Устремленные, неистово долбили они свои шурфы.

Да и что тут трепать, и дураку понятно: против воли ни одного детдомовца увезти никуда невозможно! Не в клетке же, как Пугачева, их повезут!

Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же перегоне и лови, как воду решетом!

А если бы, к примеру, удалось кого из них уговорить, то никакому Кавказу от такой встречи несдобровать; оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут... В пустыню превратят! В Сахару!

Так решали Кузьменьши и шли долбить.

Один из них железочкой ковырял землю, теперь она пошла рыхлая, сама отваливалась, а другой — в ржавом ведерке оттаскивал породу наружу. К весне уперлись в кирпичный фундамент дома, где помещалась хлеборезка.

Однажды сидели Кузьменьши в дальнем конце раскопа.

Темно-красный, с синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался. На



руках пузыри вздувались. Да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки.

В раскопе было не повернуться, сыпалась за ворот земля. Выедала глаза самодельная коптилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии.

Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытерпели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на ту свечечку, маловато, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое, да и сжевали, одна веревочка несъедобная осталась.

Теперь коптил тряпочный шнурочек: в стене раскопа был сделан выем — Сашка догадался — и оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копоту.

Оба Кузьменьша сидели, отвалившись, потные, чумазые, коленки подогнуты под подбородок.

Сашка спросил вдруг:

— Ну, что Кавказ? Трепятся?

— Трепятся, — отвечал Колька.

— Погонят, да? — Так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил: — А тебе не хотелось бы? Поехать?

— Куда? — спросил брат.

— На Кавказ!

— А чево там?

— Не знаю... Интересно.

— Мне интересно вот куда попасть! — И Колька злобно ткнул кулаком в кирпич. Там в метре или двух метрах от кулака, никак не дальше, находилась заветная хлебозаготовка.

На столике, исполосованном ножами, пропахшем кисловатым хлебным духом, лежат бухарики: много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого. Корочку отломить, и то счастье. Пососешь, проглотишь. А за корочкой и мякиша целый вагон, щипай да в рот.

Никогда в жизни не приходилось еще Кузьменьшам держать целую буханку хлеба в руках! Даже прикоснуться не приходилось.

Но видеть видели, издалека, конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах.

Сухопарая, без возраста, продавщица хватала карточки цветные: рабочие, служащие, иждивенские, детские, и, взглянув мельком — такой опытный глаз-ватерпас у нее, — на

прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала «чик-чик» по два, по три талончика в ящичек. А в том ящичке у нее тысяча, мильон этих талончиков с цифирками 100, 200, 250 граммов.

Но каждый талон, и два, и три, только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то, высохла, а не потолстела!

Но целую, всю как есть не тронутую ножом буханку, как ни смотрели в четыре глаза братья, никому при них из магазина не удавалось унести.

Целая — такое богатство, что и подумать страшно! Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три! Настоящий рай! Истинный! Благословенный! И не нужно нам никакого Кавказа!

Тем более рай этот рядышком, уже бывают слышны через кирпичную кладку неясные голоса.

Хотя ослепшим от копоти, оглохшим от земли, от пота, от надрыва нашим братьям слышалось в каждом звуке одно: «Хлеб. Хлеб...» В такие минуты братья не роют, не дураки, небось. Направляясь мимо железных дверей, в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте: его за версту видать!

Только потом уже лезут этот чертов фундамент крушить.

Вот строили в древние времена, небось, и не подозревали, что кто-то их за крепость крепким словцом приложит.

Как доберутся Кузьмеиыши, как откроется их очарованным глазам вся хлеборезка в тусклом вечернем свете, считай, что ты уже в раю и есть.

Тогда... Знали братья твердо, что случится тогда.

В две головы продумано, небось, не в одну.

Бухарик, но один, они съедят на месте. Чтобы не вывернуло животы от такого богатства. А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это они умеют. Всего три бухарика, значит. Остальное, хоть зудится, трогать не моги. Иначе озверелые пацаны дом разнесут.

А три бухарика — это то, что, по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день.

Часть для дурака повара, о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают. Но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлебобрезчики и те шакалы, которые около хлебобрезчиков шестерят. А самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак.

Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников и приживальщиков по-напихано. И всем им от детдома таскают, таскают, таскают... Детдомовцы сами и таскают. Но те, кто таскает, свои крохи от таскания имеют.

Кузьменьши точно рассчитали, что от пропажи трех бухариков шум по детдому поднимать не станут. Себя не обидят, других обделят. Только и всего.

Кому надо то, чтобы комиссии от роно поперли (А их тоже корми! У них рот большой!), чтобы стали выяснять, отчего крадут, да отчего недоедают от своего положенного детдомовцы, и отчего директорские звери-собаки вымахали ростом с телят.

Но Сашка только вздохнул, посмотрев в сторону, куда указывал Колькин кулак.

— Не-е... — произнес он задумчиво. — Все одно интересно. Горы интересно посмотреть. Они небось выше нашего дома торчат? А?

— Ну и что? — опять спросил Колька, ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба.

Оба помолчали.

— Сегодня стишки учили, — вспомнил Сашка, которому пришлось отсиживать в школе за двоих. — Михаил Лермонтов, «Утес» называется.

Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»... Уф! Одно название полкилометра длиной! Не говоря о самих стихах!

А из «Утеса» всего две строчки Сашка запомнил.

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана...

— Про Кавказ, что ли? — скучно поинтересовался Колька.

— Ага. Утес же...

— Если он такой же дурной, как этот... — И Колька сунул кулаком опять в фундамент. — Утес твой!

— Он не мой!

Сашка замолчал, раздумывая.

Он уже давно не о стихах думал. В стихах он ничего не понимал, да и понимать в них особенно нечего. Если на сытый желудок читать, может, толк и будет. Вон лохматая в хоре их мучает, а если бы без обеда не оставляли, они все давно бы из хора пятки намылили. Нужны им эти песни, стихи... Поешь ли, читаешь, все одно о жратве думаешь. Голодной куме все куры на уме!

— Ну и чего? — вдруг спросил Колька.

— Чево-чево? — повторил за ним Сашка.

— Чево он там, утес-то? Развалился аль нет?

— Не знаю, — сказал как-то по-глупому Сашка.

— Как не знаешь? А стихи?

— Чего стихи... Ну, там, эта... Как ее... Туча, значит, уперлась в утес...

— Как мы в фундамент?

— Ну, покемарила... улетела... Колька присвистнул.

— Все??

— Все.

— Ни фига себе сочиняют! То про цыпленка, то протучу...

— А я-то при чем! — разозлился теперь Сашка. — Я тебе сочинитель, что ли? — Но разозлился не сильно. Да и сам виноват: размечтался, не слышал объяснения учительницы.

Он вдруг на уроке представил себе Кавказ, где все не так, как в их протухшем Томилине.

Горы, размером с их детдом, а между ними повсюду хлебoreзки натыканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свешал, сам себе и поел. Вышел, а тут другая хлебoreзка, и опять без замка. А люди все в черкесках, усатые, веселые такие. Смотрят они, как Сашка наслаждается едой, улыбаются, рукой по плечу бьют:

«Якши», — говорят. Или еще как! А смысл один: «Ешь, мол, больше, у нас хлебoreзок много!» Было лето. Зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьменьшей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая небось тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами.

Все произошло неожиданно. Намечалось из детдома отправить двоих, постарше, самых блатяг, но они тут же отвалили,

как говорят, растворились в пространстве, а Кузьменыши, наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ.

Документы переписали. Никто не поинтересовался — отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть. Вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили: «Эти!» И после паузы: «На Кавказ!» Причина же отъезда была основательная, слава богу, о ней никто не догадывался.

За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлеборезку. Провалился на самом видном месте. А с ним и рухнули надежды Кузьменышей на другую, лучшую жизнь.

Уходили вечером, вроде все нормально было, уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть.

А утром выскочили из дома: директор и вся кухня в сборе, пялят глаза: что за чудо, земля осела под стеной хлеборезки.

И — догадались: мама родная. Да ведь это же подкоп!

Под их кухню, под их хлеборезку подкоп!

Такого еще в детдоме не знали.

Начали тягать воспитанников к директору. Пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли.

Военных саперов вызвали для консультации. Возможно ли, спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли?

Те осмотрели подкоп, от сарая до хлеборезки прошли и внутрь, там где не обвалено, залезали. Отряхиваясь от желтого песка, руками развели: «Невозможно, без техники, без специальной подготовки никак невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если, скажем, с шанцевым инструментом, да вспомогательными средствами... А дети... Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они такие чудеса творить умели».

— Они у меня еще те чудотворцы! — сказал хмуро директор. — Но я этого кудесника-творца разыщу!

Братья стояли тут же, среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой.

Оба Кузьменыша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время; не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки?

Глаз кругом много! Один недоглядел и второй, а третий увидел.

И потом, в подкопе в тот вечер оставили они свой светильник и, главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес.

Дохленькая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям! Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче — и два места освободилось.

Конечно, Кузьменьям не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея о разгрузке подмосковных детдомов, коих было к весне сорок четвертого года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется.

А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы: лишние рты спровадить, с преступностью расправиться да и вроде благое дело для ребятишек сделать.

И для Кавказа, само собой.

Ребятам так и сказали: хотите, мол, нажраться, поезжайте. Там все есть. И хлеб там есть. И картошка. И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревают.

Сашка тогда сказал брату: «Хочу фруктов... Вот тех, о которых этот... Который приезжал, говорил».

На что Колька отвечал, что фрукт это и есть картошка, и он точно знает. А еще фрукт — это директор. Своими ушами Колька слышал, как один из саперов, уходя, произнес негромко, указывая на директора: «Тоже фрукт... От войны за детишками спасается!» — Картошки наедемся! — сказал Сашка.

А Колька тут же ответил, что, когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Вон, читал в книжке, что саранча куда меньше размером детдомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живот у нее не как у нашего брата, она небось все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем...

Но ехать Колька все-таки согласился.

Два месяца тянули, пока отправили.

В день отъезда привели их к хлеборезке, не дальше порога, конечно. Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба имдавать!

Братья выходили из дверей и на яму под стеной, ту, что осталась от обвала, старались не смотреть.

Хоть притягивала их эта яма.

Делая вид, что не знают ничего, мысленно простились они и с сумочкой, и со светильником, и со всем своим родным подкопом, в котором столько было ими прожито при коптилке длинных вечеров среди зимы.

С паечками в карманах, прижимая их рукой, прошли братья к директору, так им велели.

Директор сидел на ступеньках своего дома. Был он в галифе, но без майки и босиком. Собак, на счастье, рядом не было.

Не поднимаясь, он поглядел на братьев и на воспитательницу и только сейчас, наверное, вспомнил, по какому они тут случаю.

Покряхтывая, привстал, поманил корявым пальцем. Воспитательница сзади подтолкнула, и Кузьменьши сделали несколько неуверенных шагов вперед.

Хоть директор не рукоприкладствовал, его боялись. Кричал он громко. Ухватит кого-нибудь из воспитанников за ворот и во весь голос: «Без завтрака, без обеда, без ужина!..» Хорошо, если один оборот сделает. А если два или три?

Сейчас директор вроде бы был настроен благодушно.

Не зная, как зовут братьев, да он никого в детдоме не знал, он ткнул пальцем в Кольку, приказал снять кургузый, весь залатанный пиджачок. Сашке он велел скинуть телогрейку. Эту телогрейку он отдал Кольке, а пиджачок его брату.

Отошел, посмотрел, будто сделал для них доброе дело. Остался своей работой доволен.

— Так-то лучше... — И добавил: — Ну, тово... Не бузите, не воруйте! Под вагон не лазьте, а то раздавит... А?

Воспитательница толкнула под локоть ребят, они разноголосно пропели: «Не будем, Вик Вик-трыч!» — Ну, идите! Идите!

Разрешил, словом.

Когда отошли настолько, чтоб директор не мог видеть, братья снова поменялись одеждой.

Там, в карманах, лежали их драгоценные пайки.

Может, директору, который без понятия, они и показались бы одинаковыми! Ан, нет! У нетерпеливого Сашки край корочки был отгрызен, а запасливый Колька только лизнул, есть он еще не начинал.

Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине Колькиных штанов лежала в полосочку свернутая тридцатка.

Деньги в войну невеликие, но для Кузьменышей они стоили многого.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.